

# Иван Сергеевич Тургенев

## Вешние воды

Веселые годы,  
Счастливые дни —  
Как вешние воды  
Промчались они!

### Из старинного романа

Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечи, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками. Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы

от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, томная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море — нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и

прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуга, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит — и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно явственнее. Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно

вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же — и весь измененный годами. Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло — и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» — думалось ему, и вспомнил он многое, давно прошедшее...

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

## I

Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на

возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей — и он решился прожить их за границу, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немислимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; господа туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейваген»; но дилижанс отходил только в 11-м часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» — и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных

улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, — в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась — и Санину поневоле пришлось изумиться.

## II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками,

порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой — и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» — что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый — белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, — мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

— Он умер, он умер! — вскричала она, — сейчас он тут сидел говорил со мною — и вдруг

упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? — прибавила она вдруг по-итальянски. — Ты ходил за доктором?

— Синьора, я не ходил, я послал Луизу, — раздался хриплый голос за дверью, — и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоким белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей — сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

— Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, — продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, — а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умрет! — воскликнула девушка и протянула руки к Санину. — О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете



помочь?

— Надо ему кровь пустить — это удар, — заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

— Это обморок, а не удар, — проговорил он, обратясь к Панталеоне. — Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

— Что?

— Щетки, щетки, — повторил Санин по-немецки и по-французски. — Щетки, — прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

— А, щетки! Spazzette! Как не быть щеток!

— Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук — и станем растирать его.

— Хорошо... Venone! А воду на голову не надо вылить?

— Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и

даже Санина — как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки — и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой — головной щеткой — по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер — а сам искоса поглядывал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!



### III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновою костью или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, — и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, — даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

— Снимите, по крайней мере, с него сапоги, — хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный

необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia! — зашипел на него старик...

Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью...

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул...

— Эмиль! — крикнула девушка. — Эмилио мио!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою — и с размаху положил ее себе на грудь.

— Эмилио! — повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! — послышалось за дверью — и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

— Он спасен, мама, он жив! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? — повторила та. — Я возвращаюсь... и вдруг встречаю господина доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя и все продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками, — обратился доктор к Санину и Панталеоне, — и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... — Он пощупал у молодого человека пульс. — Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся. взвел на нее глаза — и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

— Вы уходите, — начала она, ласково заглядывая ему в лицо, — я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны — вы, может быть,

спасли брата: мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

— Но я уезжаю сегодня в Берлин, — заикнулся было Санин.

— Вы еще успеете, — с живостью возразила девушка. — Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

— Приду, — ответил он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон — и он очутился на улице.



## IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как субъект темперамента нервического и с склонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, — огромный фарфоровый кофейник. Шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия — и

Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули — и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, — так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» — также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio», но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». — Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее — Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста



Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец — «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли — не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригаantom — вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот эта дочь да вот этот сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына — Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети — особенно Эмилио... («Я не послушна?» — ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» — ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'uomo!» — с суровым видом подхватил

Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

## V

Джемма слушала мать — и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею — в «душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долгое пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччебубио!» — обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве, ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana». Эмилио видимо нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает; да и кроме того по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво

поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфеты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой — и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать — о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «*Bellezze delle arti*»? — А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» — фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные — но гостеприимство чрезвычайное и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери

сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, — спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно «По улице мостовой» (*sur une rue pavez une jeune fille allait a l'eau* — он так передал смысл оригинала) — не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг — фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» — «O, vieni!», «со мной» — «siam noi» и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться.

Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

## VI

Но не голосом Джеммы — ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, — не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза — ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока, — даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему — а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэтино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно

ломавшимся басом), и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, потряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя, — да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы — не чета теперешним пискунам! — и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатола из Варезе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbusski», — с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта — *il paese del Dante!*

— Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился — и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

«Вот был человек! — воскликнул он. — Никогда великий Гарсиа — «*il gran Garsia*» — не

унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки-tenoracci — фальцетом: все грудью, грудью, voce di petto, sì» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, signori miei, вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dell'illustrissimo maestro Россини — в «Отелло»! Гарсиа был Отелло — я был Яго — и когда он произносил эту фразу...

Тут Пантелеоне стал в позитуру и запел дрожавшим и сиплым, но все еще патетическим голосом:

L'i...ra da ver...so da ver...so il fato  
Io piu no... no... non temero

— Театр трепетал, signori miei но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'i...ra da ver...so ola ver...so il fato  
Temer piu non dovro!

И вдруг он — как молния, как тигр:

Morro!.. ma vendicato...



Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из «*Matrimonio segreto*»: *Pria che spinti...* Тут он, *il gran Garsia*, после слов: *I cavalli di galoppo* — делал на словах: *Senza posa caccera* — послушайте, как это изумительно, *cam'e stupendo!* Тут он делал — Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру — и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» — подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. *Un Emile sans pitié* — этот возраст не знает жалости, — сказал уже Лафонтен.



Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) — заговорил о «paese del Dante, dove il si suona». Эта фраза вместе с «Lasciate ogni speranza» составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстук и угрюмо луча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, — ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, — обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему одну из комедий Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец — «молчать, дескать!» — чисто итальянский жест — и принялась читать.

## VII

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил — с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, — местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно — совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, у наследованную ею вместе с итальянскою кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она — когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, — корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о ёце! *ferroflucto Tedesko*), когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, — она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался — она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за

чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц — так называемых «jeunes premières»; особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешливости, словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем сам автор воздерживался — по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, и только тогда вспомнил о предстоявшем путешествии, когда пасы пробили десять часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.

— Что с вами? — спросила фрау Леноре.

— Да я должен был сегодня уехать в Берлин — и уже место взял в дилижансе!

— А когда отходит дилижанс?

— В половине одиннадцатого!

— Ну, так вы уже не успеете, — заметила Джемма, — оставайтесь... я еще почитаю.

— Вы все деньги заплатили или только задаток дали? — полюбопытствовала фрау Леноре.

— Все! — с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищури-

глаза, — и рассмеялась, а мать ее побранила.

— Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

— Ничего, — отвечала Джемма, — это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца — и все опять пошло как по маслу.

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

— Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, — сказала ему Джемма, — куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет. — Она помолчала. — Право, не будет, — прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь, — промолвила и фрау Леноре. — Мы познакомим вас с женихом Джеммы, господином Карлом Клюббером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине... Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться.

Санина это известие — бог ведает почему — слегка огорошило. «Счастливец этот жених!» — мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму — и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах.

Он начал раскланиваться.

— До завтра? Не правда ли, до завтра? — спросила фрау Леноре.

— До завтра! — произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

— До завтра! — отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

— Как ей не стыдно! Кривляется, пищит — una caricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру — нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц, — прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

— Невеста! — шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере. — Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако на следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.

## VIII

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клюбер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся г-н Клюбер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью — немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии), — но все-таки пленительной изящностью его манер! С первого взгляда становилось явно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим

покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» — или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клюбер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблуком о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества — первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности выложенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) — отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой,

державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клюбер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была маловажная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клюбер поблагодарил — и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, — но опустился так легко и держался на нем так непрочо, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости — и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин — дела прежде всего! — но так как завтра воскресенье, то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить г-на иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить — и герр Клюбер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наинovelейших сапогов.



## IX

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну даже после приглашения Санина «присесть», сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, — прибавил он, — но доктор запретил мне работать».

— Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, — воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его — и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, — и с его квартирой; рассматривал его вещи, спрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину — и вовсе не потому, что тот

накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца — а он знает, знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр — его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клюббер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торговца принадлежит собственно г-ну Клюбберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Narren-, oder Russen-Preise» (дурацкие, или русские цены) — вот его идеал!

— Ну, что ж! теперь надо идти к нам! — воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

— Теперь еще рано, — заметил Санин.

— Это ничего не значит, — промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. — Пойдемте! Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

— Ну, пойдемте, — сказал Санин, и они отправились.

## Х

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

— Не забуду, — отвечал Санин. Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не уменьшился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри — взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, — и он согласился; он остался. В задней комнате, в

которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жалко гудело в их густых ветках, осыпанных золотыми цветами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные сторы проникал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное, разлитом во внешнем воздухе, — и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас после завтрака услали к г-ну Клюбери — практиковаться в бухгалтерии, — он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерции, — он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

— Коли ты художник и особенно певец, — утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз, — будь непременно на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места?

Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет этикета), — Панталеоне, разумеется, стоял

горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он больше все толковал о том, что нужно прежде всего обладать *d'un certo estro d'ispirazione* — неким порывом вдохновенья! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал этим «*estro*», а между тем...

— Я имел врагов, — сумрачно заметил Панталеоне.

— Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это «*estro*»?

— Ну так сделайте из него торгаша, — с досадой промолвил Панталеоне, — а Джиован Баттиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером!

— Джиован Баттиста, муж мой, был человек благоразумный — и если он в молодости увлекался...

Но уже старик ничего слышать не хотел — и удалился, еще раз проговорив с укоризной:

— А! Джиован Баттиста!..

Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущностью — но не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку, по

крайней мере, брата и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре захохла и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.) Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить — и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, полутронутым тоном, какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь — прелесть. Посмотрите, посмотрите; какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноры были действительно очень красивы) — и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что

борется с матерью, и ласкалась к ней — но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы. Наконец фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле, а мы с господином русским — «avec le mosieur russe» — будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши — «comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам — другою она поддерживала подушку за головою матери — и чуть-чуть шикала, искоса поглядывая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими толчками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы, и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими

черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом он тут?

## XI

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» — заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

— Сколько с него? — шепотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

— Шесть крейсеров! — таким же шепотом отвечала она. Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой,



потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» — подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий — полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейсера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом, между тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости — молодости первоначальной!



Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль все еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

— У мамы во время сна мигрень проходит, — заметила она.

Санин заговорил — конечно, по-прежнему, шепотом — о своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренне и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную комедию. Вдруг на улице шарманка

заиграла арию из «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen» Плаксивые звуки занули, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!»

Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейсеров в руку — и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но такую музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали...

А фрау Леноре все дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебелиам, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

## XII

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его... скучным!

Фантастически-туманный, северный элемент его рассказов был мало доступен ее южной, светлой натуре. «Это все сказки, все это для детей писано!» — уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно, словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновение — и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрестанно натывается на самые свежие их следы, гоняется за ними — и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него — и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, все счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такую она сложилась, такую

осталась в памяти Джеммы.

— Мне кажется, — промолвила она, — подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

### XIII

Санин остался и после обеда. Его не отпускали все под тем же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился.

Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести — и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма! Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Уландовом романсе, несет их по жизненным укрощенным струям — радуйся, наслаждайся, путешественник! И все казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Теноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре — обыграла его на несколько крейсеров — и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталью проделать все свои штуки — и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал, запирал дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне — и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на каком французском

языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавши хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы. «Fuori, traditore!» — закричал наконец Наполеон, позабыв в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер, — и Бернадотт опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись — и Санин больше всех.

У Джеммы был особенно милый, непрерывный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина так и разбирало от этого смеха — расцеловал бы он ее за эти взвизгиванья! Ночь наступила наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по несколько раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, — но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузастланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, — словом, о всем том, что волновало его накануне — он не подумал ни разу.

## XIV

Надо ж, однако, сказать несколько слов и о самом Санине.

Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи — а главное: то простодушновеселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье — и мягкость, мягкость, мягкость, — вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после



тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.Петербург ... Санин не походил на них. Уж коли пошло дело на сравнения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах — или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших — «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, — видели в нем уже совсем иного человека.

На следующий день Санин лежал еще в постеле, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клюбер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно — и сел, изящно опираясь шляпой о колено.